



БАНКИРЫ БОЖЬИ

Семён Маркович

В начале было Слово

Семён Маркович

Банкиры божьи

«Автор»

2026

Маркович С.

Банкиры божьи / С. Маркович — «Автор», 2026 — (В начале было Слово)

Моя мать умерла шесть лет назад. Маленькая, сухая, пахла мукой и уксусом. Вся жизнь стирала чужое белье. Ни разу не украла, не солгала. А теперь мне говорят — она горит. Заплати — и свободна. Я продал козу. Мать оказалась дешевле козы на два сольди. Рим, тысяча пятьсот тринадцатый год. Папская казна пуста. Гепарды кормлены, кардиналы — не совсем. И кто-то решает продать человечеству кое-что попроще веры — прощение. Четыре гроша за мёртвую мать. Монета в кружку — душа в небе. Спрос бесконечен, себестоимость — ноль, товар не портится. А потом маленький злой монах из Саксонии берёт молоток и четыре гвоздя. И оказывается, что правда, напечатанная тем же шрифтом, что и ложь, стоит два гроша за экземпляр. И этих двух грошей достаточно, чтобы мир треснул по шву, который держали на совести — точнее, на отсутствии совести, потому что совесть не имеет строк в балансе. Четвёртая книга цикла «Дырка от бублика».

© Маркович С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
Документ № 1	7
Глава первая	9
Глава вторая	12
Глава третья	17
Глава четвёртая	23
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Семён Маркович Банкиры божьи

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ БАНКИРЫ БОЖЬИ

Пролог

Найдено в исповедальне церкви Санта-Мария-ин-Трастевере, Рим. Листок дешёвой бумаги, сложенный вчетверо, заложен между досками скамьи. Почерк неровный, буквы крупные — писал человек, для которого письмо не привычка, а усилие. На обороте — след от сырного жира и отпечаток большого пальца.

Я, Бартоломео Грасси, башмачник с улицы Банки Векки, пишу это не для священника, потому что священник и так знает, и не для Бога, потому что Бог, если верить бумаге, которую я вчера купил, уже меня простил. Пишу для себя. Потому что бумага говорит одно, а живот говорит другое, и я привык верить животу.

Живот говорит: ты дурак, Бартоломео.

У меня была коза. Серая, старая, с обломанным рогом и дурным характером, от которого молоко у неё прокисло ещё в вымени. Но молоко было. Каждое утро — молоко, каждый вечер — молоко, а по субботам из того, что оставалось, жена делала творог. Если натереть его с солью и завернуть в тряпку, он держится неделю, и это неделя, когда детям есть что положить на хлеб, если есть хлеб.

Козу я продал в среду. За девять сольди. Девять сольди — это мало за козу, даже за козу с обломанным рогом, но покупатель знал, что я тороплюсь, а когда покупатель знает, что ты торопишься, цена падает быстрее, чем камень в колодец. Он дал девять, и я взял, потому что индульгенция стоила семь, а на оставшиеся два я хотел купить сыну свечу в церкви, чтобы хоть что-то осталось от этого дня, кроме пустого сарая и запаха козы, которой больше нет.

Индульгенцию я купил у человека на площади. Не у священника — у мирянина с деревянным сундуком и голосом, от которого хотелось одновременно плакать и бежать. Он стоял на перевернутой бочке, и вокруг него было столько народу, сколько бывает в базарный день, когда привозят дешёвую рыбу. Только рыбу хотя бы можно съесть.

Он говорил про Чистилище. Говорил, что там, в огне, горят наши мёртвые — отцы и матери, жёны и мужья, дети, которых забрала горячка, — горят и кричат, и ждут, что мы их выкупим. Он говорил: одна монета — и крик прекратится. Одна монета — и мать перестанет гореть. Одна монета — и ребёнок, которого ты похоронил в апреле, откроет глаза в раю. «Как только монета в кружке зазвенит — душа из чистилища вылетит.» Он повторял это, и люди вокруг плакали и лезли в кошельки, а я стоял и думал: откуда он знает? Был ли он там, в Чистилище? Видел ли огонь? Слышал ли крик?

Моя мать умерла шесть лет назад. Она была маленькая, сухая, пахла мукой и уксусом. Всю жизнь стирала чужое бельё. Руки у неё были красные до локтей — от щёлока, от холодной воды, от чужой грязи. Она ни разу в жизни не украла, не солгала, не пропустила воскресной мессы. Она причащалась за неделю до смерти — священник пришёл к ней домой, потому что она уже не вставала, и дал ей облатку, и она проглотила, хотя глотать уже не могла, и от усилия у неё из носа пошла кровь, и священник вытер её своим рукавом, и ушёл.

А теперь мне говорят, что она горит. Что шесть лет, пока я чинил башмаки и кормил детей, моя мать горела в Чистилище, и я мог бы это остановить, если бы заплатил раньше. Если бы продал козу раньше. Если бы не был таким жадным, таким медлительным, таким скупым.

Я бросил монету в кружку. Она зазвенела. Человек на бочке улыбнулся. Мальчик рядом с ним — худой, босой, с пустыми глазами — подал мне бумагу. На бумаге было написано что-то по-латыни, чего я прочесть не могу, и стояла красная печать, и от печати пахло горячим воском, и этот запах — тёплый, густой, сытый — был единственной настоящей вещью во всей этой истории.

Я сложил бумагу и спрятал за пазуху. Шёл домой по улице Банки Векки, мимо лавок, мимо прачечных, мимо колодца, у которого мать стирала чужие простыни, — и думал.

Думал: если Бог простил мою мать за семь сольди, то сколько она стоила при жизни? Дешевле козы? Коза стоила девять. Мать — семь. Мать дешевле козы на два сольди. И за эти два сольди я купил свечу, которая сгорит к утру и ничего не изменит.

Думал: а если мать не горела? Если Чистилище — не огонь, а выдумка, и мать моя шесть лет не кричит, а молчит, потому что мёртвые молчат, и никакая монета не зазвенит достаточно громко, чтобы они услышали? Тогда я продал козу за бумажку. И дети завтра утром проснутся без молока и без творога, и жена посмотрит на меня так, как смотрит женщина на мужчину, который сделал глупость и знает об этом.

Думал ещё: а грех? Человек на бочке сказал — бумага покрывает все грехи, прошлые и будущие, на год вперёд. Но я не помню грехов. Я чиню башмаки. Встаю до рассвета, сажусь за колодку, стучу молотком до темноты. По воскресеньям хожу в церковь. Не ворую. Не прелюбодействую — когда? Я засыпаю раньше, чем успеваю подумать о жене соседа, и просыпаюсь позже, чем она уходит на рынок.

Какие грехи? Я не успеваю грешить. Я работаю.

Но человек на бочке сказал: есть грехи, которых ты не знаешь. Грехи мысли. Грехи намерения. Грехи, которые ты совершил, не заметив, потому что дьявол хитёр и подсовывает искушение так, что ты принимаешь его за усталость, за голод, за обычный человеческий страх. И от этих невидимых грехов — невидимый огонь, и от невидимого огня — невидимые страдания, и остановить их может только бумажка за семь сольди.

Я заплатил за грехи, которых не совершал. За огонь, которого не видел. За крик, которого не слышал. За мать, которая, может быть, не горит. А может быть — горит. Я не знаю. И не узнаю, пока не умру сам. А когда умру — некому будет рассказать.

Бумажка лежит у меня за пазухой. Тёплая — от тела. Печать уже не пахнет — воск остыл. Латынь молчит, потому что латынь не говорит с башмачниками.

Я не знаю, простила ли мать. Не знаю, горела ли. Не знаю, есть ли у меня грехи, за которые я заплатил, или я заплатил за воздух.

Знаю одно: молока завтра не будет. И послезавтра не будет. И через неделю. Коза была настоящая. Молоко было настоящее. Творог был настоящий. А бумажка — не знаю.

Жена пока не спрашивала, куда делась коза. Она стирает. Руки у неё красные, как у матери. Она вернётся, увидит пустой сарай и спросит.

Я не знаю, что ей ответить.

Человек на бочке знал ответ на любой вопрос. Я — не знаю ответа ни на один.

Может, в этом разница между нами. Он продаёт ответы. Я чиню башмаки. Башмаки хотя бы можно примерить.

Документ № 1

Из бухгалтерской книги Апостольской канцелярии. Рим, 1476 год. Пергамент — телячий, высшего качества, с водяным знаком папской тиары. Чернила — дубовые, густые, коричневые. Почерк — канцелярский, безупречный. На полях — пометки другим почерком, мельче, торопливее, с характерной лишней запятой перед каждым придаточным.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь.

Настоящим удостоверяется, что душа Джованни Баттисты Кьярелли, сукноторговца из Прато, освобождается от бремени нижеследующих прегрешений:

Прелюбодеяние с женой соседа (однократно). Тариф: 3 флорина.

Прелюбодеяние с женой другого соседа (трёхкратно). Тариф: 3 флорина за первое, 2 флорина 8 сольди за каждое последующее (скидка за повторное обращение согласно параграфу 12 Тарифной буллы от 3 марта 1471 года, утверждённой Его Святейшеством папой Сикстом IV, да хранит его Господь).

Чревоугодие (систематическое). Тариф: 1 флорин 4 сольди (сезонная ставка; в Великий пост — двойной тариф).

Ростовщичество (предположительное). Тариф: 5 флоринов. Примечание писаря: проситель утверждает, что не давал денег в рост, а лишь «оказывал соседям дружескую финансовую услугу под разумный процент». Тариф применён в полном объёме, поскольку различие между ростовщичеством и дружеской услугой определяется не намерением должника, а ставкой процента, а ставка у синьора Кьярелли, по имеющимся сведениям, превышает ломбардскую на четыре пункта.

Гнев (неоднократный). Тариф: 14 сольди за эпизод. Количество эпизодов установлено со слов исповедника — 47. Итого: 3 флорина 6 сольди 2 денария.

Сомнение в догмате Непорочного Зачатия (однократное, в состоянии опьянения). Тариф: 8 флоринов. Примечание: сомнение в состоянии опьянения тарифицируется по полной ставке, поскольку опьянение не освобождает от ответственности за содержание мыслей (Булла Климента V, 1312 год, параграф 9, подпункт «О грехах, совершённых в беспамятстве»). Примечание к примечанию: если проситель будет оспаривать плату, сослаться на Фому Аквинского, Сумма теологии, часть II-II, вопрос 95: «Пьяный согрешает вдвойне, ибо согрешает против разума и против тела». Если проситель не читал Фому Аквинского — тем лучше.

Итого по счёту: 24 флорина 18 сольди 2 денария.

Уплачено: 24 флорина 18 сольди 2 денария.

Задолженность: отсутствует.

Душа синьора Кьярелли настоящим признаётся чистой перед Господом и свободной от обременений. Данный документ действителен бессрочно и не подлежит пересмотру, аннулированию или возврату средств.

Печать Апостольской канцелярии (воск, красный).

Подпись секретаря (неразборчива).

Пометка на полях, другим почерком, мелким, с лишней запятой:

«Двадцать четыре флорина. За это можно купить мула. Хорошего, с крепкими ногами и скверным характером. Мул живёт двадцать лет, возит грузы и не требует отпущения грехов. Синьор Кьярелли выбрал не мула. Синьор Кьярелли выбрал бумажку, на которой написано, что Бог его простил.

Вопрос: кто глупее — Кьярелли, который платит, или мы, которые берём?

Ответ: глупее тот, кто задаёт этот вопрос. Потому что ответ на него стоит дороже двадцати четырёх флоринов, и его не купишь ни в одной канцелярии.

Л.»

Пометка ниже, третьим почерком — крупным, размашистым, без единой запятой:

«Лео. Перестань философствовать на полях бухгалтерских документов. Это портит отчётность и нервирует Микеле.

Г.»

Пометка ещё ниже, четвёртым почерком — мелким, с нажимом, от которого пергамент продавлен:

«Отчётность уже испорчена. Этот Кьярелли — мелочь. Я только что пересчитал доходы Канцелярии за последний квартал. Семнадцать тысяч флоринов от индульгенций. Расходы на содержание папского двора за тот же период — сорок одна тысяча. Дефицит — двадцать четыре тысячи флоринов. Это не финансы, это катастрофа в бархатной мантии.

Папа тратит на охоту с гепардами больше, чем на строительство собора. У нас три варианта: 1) увеличить тираж индульгенций втрое; 2) поднять тарифы на тяжкие грехи; 3) изобрести новые грехи. Третий вариант — самый перспективный, потому что ассортимент грехов не обновлялся с четвёртого века, а рынок требует свежести.

М.»

Последняя пометка — пятым почерком, женским, ровным, без единого лишнего слова:

«Мальчики. Хватит писать на полях. Ужин в семь. Кто опоздает — останется без супа. Это касается и тебя, Гершон.

Р.»

Глава первая

Смета Небес. Рим, 1513

Рим пах деньгами и мертвечиной. Причём отличить одно от другого удавалось не сразу. На стройплощадке собора Святого Петра — а точнее, на том месте, где собор Святого Петра должен был когда-нибудь появиться, если Господь не устанет ждать, а папская казна не лопнет раньше, — несло горелой известью, кислым потом, ослиной мочой и чем-то сладковатым, гнилым, что поднималось из-под фундамента, когда землекопы добирались до старых захоронений. Мёртвые епископы, погребённые при Юлии II, ещё не до конца договорились с вечностью, и вечность напоминала о себе запахом, от которого землекопы крестились, а мулы упирались.

Я стоял на лесах третьего яруса, опершись локтем о балку, и смотрел вниз. Балка была сосновая, занозистая, и от неё пахло смолой — единственный честный запах на этой стройке. Внизу, в котловане, копошились люди — маленькие, серые, в одинаковых рубашках, мокрых от пота. Они выкладывали травертиновые блоки, подгоняя их друг к другу деревянными молотками. Стук молотков отдавался в рёбрах лесов мерной дрожью, и эта дрожь поднималась по ногам до колен, и от неё казалось, что стоишь не на помосте, а на палубе корабля, который медленно тонет, и все делают вид, что плывут.

Рядом со мной, на корточках, примостился Микеле.

Он был в монашеской рясе — серой, францисканской, с капюшоном, надвинутым на лоб, и с верёвочным поясом, на котором болтался не крест, а кошель. Кошель был пуст, что приводило его в состояние, близкое к агонии, — пустой кошель для Микеле был то же, что для нормального человека пустой гроб: ещё не катастрофа, но уже приглашение. Он держал на коленях лист плотной бумаги, прижатый к дощечке, и с яростью, от которой перо скрипело, как гвоздь по стеклу, подсчитывал блоки.

— Семьсот двенадцать, — прошипел он, не поднимая головы. — Семьсот двенадцать блоков травертина уложено за месяц. Нужно четырнадцать тысяч. При текущей скорости собор будет достроен через...

Он замолчал, шевеля губами.

— ...через сто двадцать лет.

— Оптимистично, — сказал я.

— Это пессимистично! — Микеле вскинул голову, и капюшон сполз на затылок, обнажив лысину, на которой блестели капли пота. Левый глаз дёрнулся. — Это при условии, что каменоломня в Тиволи не закроется, что чума не придёт раньше осени и что кардиналы перестанут воровать камень на личные виллы! Ты видел виллу кардинала Петруччи? Он выложил ею террасу! Террасу, Симоне! Из храмового травертина!

— Тише, — я положил руку ему на плечо. Ряса была мокрая и пахла козлом, что для францисканца, впрочем, считалось комплиментом. — Мы инкогнито.

— Инкогнито! — он перешёл на свистящий шёпот, который слышали, вероятно, даже мёртвые епископы под фундаментом. — Какое инкогнито, когда Браманте умер, проект никто не понимает, денег нет, а новый папа вместо строительства устраивает охоту с гепардами?! С гепардами, Симоне! Ты знаешь, сколько стоит содержание одного гепарда?!

— Не знаю.

— Больше, чем каменщик за год! И у него их шесть!

Он ткнул пером в бумагу так, что перо прорвало лист насквозь.

Я смотрел вниз, на котлован, и думал о том, что по строительству храмов всегда видно, как обстоят дела с верой. Когда вера крепка, храмы строят быстро: Соломонов Храм, по нашим записям, возвели за семь лет, и каждый камень ложился так, будто знал своё место.

Когда вера шатается — строят веками, переделывают, спорят о проекте, меняют архитекторов, воруют камень на террасы. Собор Святого Петра строился так, словно сам не верил, что будет достроен. Фундамент лежал в земле, как кости — тяжёлый, холодный, без надежды подняться выше.

Браманте, которого нанял ещё Юлий II, умер год назад, оставив после себя план, который не мог понять никто, включая, вероятно, самого Браманте. Грегорио говорил, что Браманте спроектировал не собор, а идею собора. Идея не имеет веса, а камень — имеет, и между ними лежит пропасть, заполненная сметами Микеле и проклятиями каменщиков.

Новый папа — Лев X, из Медичи, — к строительству относился примерно так же, как Нерон относился к городскому планированию: с энтузиазмом, но без финансирования. Для Льва X жизнь была праздником, за который платил кто-то другой. В день своей интронизации он произнёс фразу, от которой Микеле обвёл строку в Гроссбухе траурной рамкой, — мы услышим её позже, а пока достаточно сказать, что от этой фразы Лео впервые провёл кривую линию на чьей-либо памяти.

Наслаждение стоило дорого. Охота с гепардами, театральные постановки с участием живых слонов, банкеты, на которых блюда выносили в серебряных раковинах и которые длились по двенадцать часов, — всё это требовало денег, которых у Ватикана не было, потому что предыдущий папа, Юлий II, потратил их на войны, а тот, что был до Юлия, — на племянников. Ватикан был банкротом, одетым в парчу. Снаружи — золото, горностаи, бархат. Внутри — дыра, через которую дул сквозняк из Чистилища.

И в эту дыру мы собирались вбросить бумагу.

* * *

Микеле выпрямился, отряхнул колени от известковой пыли и посмотрел на меня. Глаза у него были такие, какие бывают у бухгалтера, который только что обнаружил, что кассу обнесли, а ключ от кассы — у него в кармане.

— Симоне. У меня цифры.

— У тебя всегда цифры.

— Нет. Обычно у меня цифры, которые складываются. А сейчас у меня цифры, которые вычитаются. — Он вытащил из-под рясы свёрнутый пергамент и развернул его на балке, придавив углы камешками. — Доход Апостольской канцелярии от индульгенций: семнадцать тысяч флоринов в квартал. Расход папского двора: сорок одна тысяча. Дефицит: двадцать четыре тысячи. Это без учёта строительства собора, без учёта содержания гвардии, без учёта корма для гепардов. С учётом гепардов — двадцать шесть.

Он свернул пергамент и спрятал обратно.

— У нас два выхода. Либо мы увеличиваем доход. Либо собор не будет достроен, Ватикан обанкротится, вера рухнет, и нам придётся начинать с нуля. Снова. Как после Рима. Как после Константинополя.

— Что предлагаешь?

Микеле посмотрел вниз, на котлован, на каменщиков, на мулов, которые тащили по грязи блоки травертина на деревянных полозьях. Потом посмотрел вверх — на небо, синее, безупречное, римское, к которому этот храм должен был когда-нибудь подняться.

— Расширить ассортимент, — сказал он. — Грехов у людей много. Мы обслуживаем только тех, кто приходит сам. Нужно идти к ним. Нужен торговец. Ходок, который поедет по Германии, по деревням, по рынкам, по ярмаркам — и будет продавать прощение на месте. Без посредников, без исповедальни, без священника. Напрямую: грешник — бумажка — касса.

Он помолчал и добавил:

— Затраты: бумага и чернила. Барыш — бесконечный. Единственный расход — совесть. Но совесть в кошельке не звенит.

Внизу стукнул молоток. Мул заревел. Каменщик выругался на романьольском диалекте, и ругательство его, гулкое и протяжное, поднялось по стенам котлована и ушло в синее небо, к Богу, который, если верить бухгалтерии Микеле, был должен Ватикану двадцать четыре тысячи флоринов — не считая гепардов.

Глава вторая

Герб на стене. Ватикан, 1513

Коридоры Ватикана в марте пахли псиной.

Не метафорически — буквально: Лев X держал во дворце не только гепардов, но и борзых, двенадцать штук, белых, тонкокостных, с мордами длиннее папских булл. Борзые спали где хотели — на коврах, на ступенях, на мозаичном полу, который выкладывали при Николае V, и на этом полу оставались мокрые пятна, в которые наступали кардиналы, и кардиналы ругались шёпотом, потому что ругаться на папских собак вслух было бы ругательством на папу, а ругательство на папу стоило, по последним расценкам Микеле, от восьми до двенадцати флоринов в зависимости от громкости.

Я шёл по галерее третьего этажа, огибая лужу, в которой отражался потолок, расписанный херувимами. Херувимы смотрели вниз — на лужу, на борзую, которая лежала поперёк коридора и не собиралась двигаться, и на меня, который переступал через борзую, стараясь не наступить ей на хвост. Борзая открыла один глаз, оценила меня как угрозу, оценку отклонила и снова уснула.

За поворотом, у двери в приёмную апостольского камерария, стоял монсеньор Бибиена — секретарь, доверенный, остро слов и единственный человек в Ватикане, который мог расшевелить папу, не заплатив за это должностью. Бибиена был маленький, подвижный, с лицом, похожим на персик, — круглым, гладким и с ямочкой на подбородке, которая, казалось, улыббалась отдельно от рта. Он перегородил коридор, расставив руки, как пастух перед стадом, и вид у него был такой, какой бывает у человека, которому поручили невозможное и который уже смирился, но ещё не ушёл.

— Синьор, — сказал он, даже не спрашивая, к кому я иду. В Ватикане все шли к кому-нибудь, и все были синьорами, пока не доказано обратное. — Его Святейшество не принимает.

— Мне к камерарию.

— Камерарий не принимает тоже. У камерария подагра. Левая нога. Со вчерашнего вечера. Он лежит, стопа на подушке, подушка на стуле, стул на ковре, ковёр — испорчен, потому что камерарий в приступе опрокинул чернильницу, и теперь ковёр, стул и подушка — одного цвета. Чёрного.

— Мне назначено.

— Синьор, в Ватикане всем назначено. И никому — не сегодня.

Бибиена улыбнулся — той улыбкой, которая не впускает и не выпускает, а держит собеседника на месте, как калитка, запертая изнутри. Я знал эту породу людей. В каждом дворце, в каждом храме, в каждой канцелярии за последние тысячи лет я встречал Бибиену — человека, чья власть состоит в том, чтобы стоять между дверью и тем, кто хочет войти. Не вельможу, не стражника — привратника, который знает, что дверь важнее того, что за ней.

Я не стал спорить. Развернулся и пошёл обратно, мимо борзой, мимо лужи, мимо херувимов, которые смотрели вниз с выражением тех, кто давно привык к тому, что внизу — лужи.

За следующим поворотом я услышал крик. Не крик боли и не крик гнева — крик художника, которому мешают. Густой, хриплый, на тосканском диалекте, с проклятиями, которые перечисляли святых в обратном алфавитном порядке и сообщали каждому, что он может сделать со своим нимбом. Голос доносился из-за строительных лесов, установленных вдоль стены.

Я остановился. За лесами, в нише, на узком помосте стоял человек — невысокий, коренастый, в рубахе, заляпанной краской так густо, что рубаха стала отдельным произведением искусства, непризнанным и бесценным. Лицо было покрыто мелкими брызгами — синими, золотыми, охряными — и от этого казалось, что на него упало небо и не вытерлось. Он расписывал стену: архангел, или серафим, или кто-то из небесного воинства — я не разобрал,

потому что фигура была наполовину закрыта мешком, из которого торчал хлеб, и мешок этот рассерженный художник теперь швырял куда-то вниз, в темноту подмостков.

— Я сказал — не на помосте! — рычал он, обращаясь к мальчику-подмастерью, который стоял внизу, прижимая к груди кувшин с водой и глядя на мастера с тем выражением, с каким смотрят на грозу: страшно, но красиво. — Хлеб — на полу! Краска — на помосте! Не наоборот! Когда хлеб на помосте — крошки падают в краску! Крошки в охре — это не охра! Это каша! А каша — для свиней, а не для серафима!

Мальчик кивнул, подобрал мешок и исчез. Художник повернулся обратно к стене, ткнул кисть в горшок с синей краской и провёл линию — одну, длинную, от плеча серафима до кончика крыла, — и линия эта легла на стену с такой неизбежностью, с какой камень падает на землю: не потому что хочет, а потому что не может иначе.

Я стоял и смотрел. Не на серафима. На линию. На руку, которая её провела. На уверенность этой руки — не ту уверенность, которая приходит от знания, а ту, которая приходит от невозможности сомневаться. Этого человека никто не учил быть правым. Он родился правым. Как молоток рождается тяжёлым.

Я пошёл дальше. За спиной мастер снова кричал — теперь на краску, которая густела не так, как он хотел. Краска не отвечала. Стена молчала. Серафим ждал.

* * *

Герб я увидел за третьим поворотом.

Он висел над дверным проёмом, ведущим в личные покои папы, — каменный, вмурованный в стену, с позолотой, которая ещё не успела потемнеть, потому что повесили его полгода назад, когда Джованни Медичи стал Львом X и велел украсить дворец фамильными знаками, как пёс метит территорию, — с той разницей, что пёс метит запахом, а Медичи — гербом, и герб держится дольше.

Шесть шаров на золотом поле. Palle. Пилюли — так их звали во Флоренции, потому что Медичи, по легенде, происходили от аптекарей, и шары на гербе были пилюлями, хотя никто из Медичи за последние сто лет не прикасался к лекарствам — только к деньгам, которые лечили надёжнее.

Я остановился. Положил руку на стену — камень был холодный, влажный, ватиканский — и смотрел на шесть позолоченных шаров, и шары смотрели на меня, и между нами лежало восемьдесят лет, которые начались в тот день, когда я впервые увидел эти шары не на стене, а на перстне.

* * *

Флоренция. Сентябрь тысяча четыреста тридцать четвёртого года. Палаццо на Виа Ларга, который ещё не стал дворцом, но уже перестал быть домом, — потому что дом не обкладывают рустом до второго этажа и не ставят перед ним стражу, которая делает вид, что охраняет хозяина от воров, а на самом деле охраняет воров от хозяина.

Козимо вернулся из изгнания три дня назад. Город встретил его так, как город встречает человека, без которого оказалось хуже, чем с ним: без радости, но с облегчением, как встречают лекаря, которого выгнали за дороговизну и позвали обратно, когда стало совсем плохо.

Грегорио привёл меня к нему утром — через заднюю дверь, через двор, мимо конюшни, в которой стояли шесть мулов и пахло сеном и деньгами, потому что в яслях третьего мула, под соломой, лежал сундук с кассовой книгой банка Медичи, и Козимо держал кассовую книгу в конюшне, а не в конторе, потому что «в конторе — крадут, а из конюшни — не додумаются».

Он принял нас в комнате на втором этаже — небольшой, с одним окном, без ковров, без гобеленов, с деревянным столом и двумя стульями. Третьего стула не было, и мне пришлось стоять, потому что Козимо сел первый и Грегорио сел вторым, и между ними не осталось места для церемоний, а тем более — для мебели.

Козимо был худой. Это первое, что я запомнил: худой, длиннолицый, с носом, который начинался между бровями и заканчивался, казалось, только из вежливости, решив наконец, что дальше — уже подбородок. Глаза — тёмные, спокойные, с тем выражением, которое бывает у людей, умеющих считать быстрее, чем говорить. Пальцы — длинные, сухие, с чернильным пятном на большом пальце правой руки, и это пятно делало его похожим не на банкира, а на писца, и в этом сходстве была подсказка, которую я тогда не разгадал: Козимо не просто считал деньги — он их записывал, и записывал иначе, чем все.

Грегорио говорил двадцать минут. Я не помню слов — помню интонацию: ту особенную интонацию, которой Грегорио разговаривал с людьми, которых хотел купить, но ещё не знал цену. Голос мягкий, но с подкладкой, как камзол с шёлковой изнанкой: снаружи — бархат, внутри — прохлада. Он говорил о храмах, о вере, о том, что Флоренция заслуживает красоты, которая переживёт столетия, и что Комитет — организация, названия которой он не произнёс, — готов обеспечить эту красоту, если найдётся человек, готовый её финансировать.

Козимо слушал, не перебивая и не кивая, — сидел прямо, положив руки на стол, и левый указательный палец медленно постукивал по дереву — не от нетерпения, а от привычки, как стучит метроном, отсчитывая стоимость каждого чужого слова.

Когда Грегорио замолчал, Козимо не ответил. Он открыл ящик стола, достал тетрадь — тонкую, в кожаном переплёте, с застёжкой — и положил перед Грегорио. Раскрыл на середине. — Посмотрите, — сказал он.

Грегорио посмотрел. Я заглянул через его плечо.

Страница была разделена вертикальной чертой пополам. Слева — столбец цифр под заголовком, которого я не понял. Справа — другой столбец, под другим заголовком. Итоговые суммы внизу совпадали. Каждая трата слева имела отражение справа, как предмет имеет тень, и тени были аккуратнее предметов.

— Что это? — спросил Грегорио.

— Двойная запись, — сказал Козимо. Голос был ровный, без гордости, как голос человека, показывающего вещь настолько очевидную, что гордиться ею — всё равно что гордиться тем, что дышишь. — Каждое движение денег записывается дважды: откуда ушло и куда пришло. Левая страница — приход. Правая — расход. Итог сходится. Если не сходится — значит, кто-то украл, и я знаю сколько, и могу вычислить кто.

Грегорио листал страницы. Я смотрел на его лицо и видел то, что видел редко: удивление. Не изумление — Грегорио не изумлялся, — а тихое, внутреннее удивление человека, который понял, что его обогнали, и обогнал не враг, а клиент.

— Вы это придумали? — спросил Грегорио.

— Нет. Мой управляющий, Джованни ди Биччи. Мой отец. Он умер десять лет назад и оставил мне банк, метод и совет: «Считай дважды. Один раз — для себя. Второй — для Бога. Если Бог согласен с итогом — значит, ты не украл.»

Козимо забрал тетрадь, закрыл, застегнул.

— Я вас выслушал, синьор Грегорио. Вы предлагаете сделку: вы строите храмы, я плачу. Красиво. Но у меня встречное предложение.

Он положил руки на стол — ладонями вниз, плашмя, и жест этот был не приглашением, а захватом, как кладут руки на карту, обозначая территорию.

— Я финансирую ваши храмы. Вы финансируете мою власть. Не деньгами — смыслами. Я хочу, чтобы Флоренция стала городом, в который едут не за шерстью и не за банковским кредитом, а за тем, ради чего люди вообще куда-то едут, — за ощущением, что здесь жизнь стоит того, чтобы жить. Храмы — да. Но не только храмы. Площади. Библиотеки. Сады. Художники, которые будут рисовать не Мадонну — человека. Скульпторы, которые будут высекать не святого — тело. Я хочу красоту. А красота стоит дороже собора, потому что собор можно постро-

ить один раз, а красоту нужно поддерживать каждый день, как огонь, и дрова для этого огня стоят денег, которых у вас нет, но которые есть у меня.

Грегорио молчал. Я видел, как его пальцы — безупречные, — сжались на мгновение и разжались. Жест, который он делал, когда пересчитывал варианты.

— А взамен? — спросил он.

Козимо улыбнулся. Улыбка была тонкая, длинная, как его нос, и не доходила до глаз, которые оставались тёмными и считающими.

— Взамен — ничего. Я не прошу ничего, потому что ничего не стоит дороже, чем что-то. Вы будете мне должны услугу. Какую — я пока не знаю. Когда узнаю — скажу. До тех пор — стройте. Я плачу.

Козимо встал — аудиенция закончилась, — и мулы в конюшне переступили с ноги на ногу, и солома зашуршала, и под соломой зашуршала кассовая книга, в которой уже была записана эта сделка — дважды, слева и справа, как полагается человеку, который считает для себя и для Бога.

На выходе, во дворе, Грегорио остановился. Посмотрел на перстень, который Козимо надел ему на прощание — не подарил, а надел, молча, взяв Грегорио за руку и насадив кольцо на палец с той уверенностью, с какой ставят печать на документ. На перстне было шесть шаров. Palle. Герб, который через восемьдесят лет окажется на стене Ватикана, а через пятьсот — в учебниках, которые ещё не написаны.

— Он нас купил, — сказал Грегорио. Голос был спокойный. Пальцы крутили перстень. — Первый клиент за две тысячи лет, который пришёл и купил нас, а не мы его.

— Может быть, это и хорошо, — сказал я.

— Может быть, — ответил Грегорио. — А может быть, это начало того, что всё, что мы построили, переходит в чужие руки. Козимо не дурак. Он понял нашу модель. Дать людям смысл — и взять за это плату. Только он платит дешевле нас, а берёт дороже. Потому что у него — банк, а у нас — только слова.

Он снял перстень, повертел на ладони и положил в карман.

— Впрочем, — сказал он, — слова всегда стоили дороже банков. Банки горят. Слова — нет.

В тот раз Грегорио ошибся — через восемьдесят лет и банки, и слова окажутся бесполезны перед монахом, у которого нет ни того ни другого, но есть молоток и девяносто пять пунктов, набранных шрифтом, которого Козимо не дожил, а Грегорио не предвидел.

Но тогда, в тысяча четыреста тридцать четвёртом, в сентябре, во Флоренции, пахнущей речной водой, конским навозом и жареными каштанами, — тогда Грегорио считал, что контролирует ситуацию.

А я шёл за ним и смотрел на его спину — прямую, затянутую в чёрное, как всегда, — и думал: он контролирует ситуацию, как возница контролирует лошадь, — пока лошадь согласна. А Козимо — не лошадь. Козимо — тот, кто построил дорогу, по которой лошадь идёт.

* * *

Я отнял руку от стены.

Герб висел на месте. Шесть шаров. Позолота свежая. За дверью, в личных покоях, Лев Х, вероятно, кормил борзых с рук, или слушал музыканта, или диктовал письмо — неважно, потому что всё, что делал Лев Х, выглядело одинаково: как человек, которому весело. Внук Козимо. Сын Лоренцо. Третье поколение семьи, которая поняла раньше нас: власть — это не меч и не крест, а кредитная линия.

Козимо заплатил наличными. Лоренцо расплатился красотой. Лев Х платил обещаниями, за которыми ничего не стояло, кроме улыбки и герба на стене.

А мы, Комитет, впервые оказались в положении, которого не знали: мы были не продавцами, а покупателями. Не теми, кто создаёт смысл, а теми, кто стоит в приёмной и ждёт, пока секретарь с лицом персика скажет: «Не сегодня».

Борзая в коридоре поднялась, потянулась и ушла — в сторону кухни, откуда пахло жареным мясом. У борзой не было герба, но был нюх, и нюх говорил ей то, что нюх говорит всем живым существам: еда — там. Остальное — потом.

Я пошёл искать Грегорию. Перстня с шестью шарами он не носил — снял в тот же день, во Флоренции, и больше не надевал. Но карман, в котором лежал перстень, протёрся, и дыра осталась, и через эту дыру, если присмотреться, можно было увидеть подкладку камзола — шёлковую, гладкую, того же цвета, что голос, которым Грегорию разговаривал с людьми, которых хотел купить.

Только теперь покупали нас.

Глава третья

Кровь на мраморе. Ватикан, 1513

Имя я слышал за углом.

Два клирика стояли у ниши со свечами и обсуждали наследство — не своё, а чужое, что в Ватикане было делом более привычным, чем молитва. Один — толстый, краснолицый, в сутане, на которой пуговицы держались на честном слове и одной нитке, — говорил про имущество конфискованное. Вторым — сухой, с бородкой, похожей на обкусанное перо, — возражал. Спор шёл о палаццо во Флоренции, которое казна отняла у одного семейства сорок лет назад, а теперь потомки требовали вернуть, и дело дошло до папского суда, и папскому суду было не до палаццо, потому что папскому суду было не до чего, кроме охоты, но всё же — дело лежало на столе, и на столе оно лежало плохо, потому что от него пахло.

— Пацци, — сказал толстый. — Чего ты хочешь. Пацци — это запах. Этот запах из Флоренции не выветрился до сих пор.

Я остановился. Не потому что хотел слушать чужой разговор — а потому что имя ударило в затылок, как ударяет запах крови, когдаходишь в комнату, где она была: не видишь, не трогаешь, но знаешь.

Пацци.

Сорок лет. Для Ватикана — вчера. Для меня — та же дверь, тот же мрамор, тот же звук, с которым сталь входит в живот, — влажный, короткий, похожий на вздох.

Я прислонился к стене и закрыл глаза. Клирики ушли. Свеча в нише оплыла, и воск закапал на мозаичный пол, и капли застывали маленькими белыми кляксами, и каждая клякса была похожа на монету, и ни одна не стояла ничего.

* * *

Флоренция. Двадцать шестое апреля тысяча четыреста семьдесят восьмого года. Воскресенье. Пасхальная месса.

Санта-Мария-дель-Фьоре пахла ладаном, потом и лилиями. Лилий было столько, что от них слезились глаза, — белые, в высоких вазах, расставленных вдоль нефы, и сладость их смешивалась с духотой тысячи тел, набитых под купол Брунеллески так плотно, что между плечами не пролезала рука, и от этой тесноты воздух стоял, как вода в болоте, — тёплый, мутный, неподвижный.

Купол нависал над нами, как небо, которое решило подойти поближе и посмотреть, чем занимаются люди внизу. Фрески Вазари — нет, не Вазари ещё, Вазари будет потом, — фрески ещё не были написаны, и купол изнутри был голый, каменный, с рёбрами кирпичной кладки, расходящимися от замкового камня, как трещины на яичной скорлупе. Свет падал из окон барабана — узкими столбами, золотыми, в которых вился ладанный дым, и дым поднимался к куполу и растворялся, и от этого казалось, что молитвы уходят вверх, а люди остаются внизу, и между ними — дым.

Мы стояли в четвёртом ряду от алтаря. Грегорио — слева, в чёрном, с руками за спиной, как всегда. Лео — справа, в колпаке, надвинутом на глаза, с видом человека, который пришёл в церковь не молиться, а считать колонны. Микеле — за моей спиной, прижимая к груди Гроссбух, завернутый в холст, потому что Микеле не расставался с Гроссбухом даже на мессе, а на мессе особенно, потому что на мессе Микеле подсчитывал пожертвования, и от этого мессы для него имела не духовную, а арифметическую ценность. Розалия — через три ряда, в чёрном платке, рядом с торговкой каштанами, которая храпела стоя, прислонившись к колонне, и Розалия периодически толкала её локтем, не из вежливости, а из привычки — Розалия не выносила храпа, ни в церкви, ни дома, ни на привале.

Лоренцо Медичи стоял в первом ряду.

Я видел его со спины — широкие плечи, камзол тёмно-красный, с золотой нитью, волосы чёрные, собранные в хвост. Рядом — его брат Джулиано: моложе, тоньше, красивее, с лицом, которое художники уже начали рисовать и будут рисовать ещё двадцать лет после его смерти, не зная, что рисуют мёртвого. Джулиано улыбался — он всегда улыбался, как улыбаются люди, которым жизнь пока не предъявила счёт.

Между братьями и нами — три ряда прихожан, и в этих рядах, среди горожан, торговцев и их жён, стояли люди, которых я тогда не знал по именам, но узнал потом: Франческо де Пацци, Якопо де Пацци, архиепископ Сальвиати, два священника — Стефано да Баньоне и Антонио Маффеи. Священники стояли ближе всех к Джулиано — на расстоянии вытянутой руки, и руки их были спрятаны в рукава, и в рукавах было не чётки.

Я не знал. Грегорио — знал.

Я понял это потом, когда восстановил хронологию по мелочам: Грегорио занял место в четвёртом ряду, а не в первом, хотя мог быть в первом — Лоренцо приглашал. Грегорио надел чёрное, а не серое — чёрное он надевал, когда ожидал крови, как другие надевают плащ, ожидая дождя. Грегорио встал слева от меня, а не справа, — и слева он вставал, когда хотел, чтобы я не видел его рук, потому что его руки говорили правду раньше, чем он разрешал рту.

Он знал. И решил — до мессы, до нас, до крови — решил, что мы не вмешиваемся.

* * *

Колокол зазвонил к Вознесению Даров. Этот звук я запомнил — густой, медный, идущий не сверху, а отовсюду, как будто колокол висел не на башне, а в груди у каждого, и каждый звонил вместе с ним.

На третьем ударе Франческо де Пацци шагнул к Джулиано.

Я не увидел ножа. Увидел движение — быстрое, короткое, снизу вверх, как движение руки, которая вынимает нож из ножен или хлеб из корзины, и разница между этими движениями — только в том, что после одного человек ест, а после другого — умирает. Франческо ударил Джулиано в живот, и Джулиано перегнулся пополам, и второй удар пришёлся в грудь, и третий — в шею, и кровь хлынула на камзол, на пол, на лилии, которые стояли у алтаря и теперь стали красными.

Толпа качнулась. Крик — не один, а сто, — поднялся к куполу и отразился от камня, и камень вернул его вниз, искажённым, умноженным, как возвращает эхо горное ущелье. Люди побежали — к дверям, к стенам, к колоннам. Женщины прижимали к себе детей. Мужчины — кошельки. Торговка каштанами проснулась, увидела кровь и упала в обморок, и Розалия подхватила её под мышки и прислонила обратно к колонне, и всё это — не отрывая глаз от алтаря, где Джулиано лежал на полу, и кровь текла по мрамору, и мрамор был белый, и кровь на белом мраморе была такого цвета, которого не бывает на фресках, потому что фрески — это кровь, которую художник выбрал, а эта кровь выбрала себя сама.

Лоренцо — я видел — метнулся к ризнице. Он был ранен — полоса крови на шее, длинная, как росчерк пера, — но держался на ногах и бежал, и за ним бежали двое слуг, и двери ризницы захлопнулись, и засов лязгнул, и звук этого засова был единственным разумным звуком во всём соборе — металл о металл, замок, который закрывается, когда всё остальное открылось.

Франческо де Пацци продолжал бить. Джулиано уже не двигался, но Франческо бил — в спину, в бок, в ноги, — и от этих ударов тело дёргалось, как дёргается мешок, когда его пинают, и в этом дёргании не было жизни, только инерция, и Франческо, ослеплённый яростью, не видел разницы, потому что ярость не различает живых и мёртвых.

Девятнадцать ударов. Я считал. Не потому что хотел — потому что Микеле за моей спиной считал вслух, шёпотом, как считал всё и всегда — колонны, пожертвования, удары ножа в тело Джулиано Медичи, — и от этого счёта мне стало нехорошо, но не от крови, а от того, что кровь оказалась подсчитываемой.

* * *

Грегорио не пошевелился.

Он стоял в четвёртом ряду, руки за спиной, и смотрел на алтарь, где Джулиано лежал в луже крови, а рядом с ним — опрокинутые лилии, и их белые лепестки плавали в красном, и это было красиво, и от этой красоты хотелось отвернуться, но я не отвернулся, потому что Грегорио не отворачивался, и если Грегорио смотрит — значит, нужно смотреть.

— Грегорио, — сказал я. Голос мой звучал глухо, как звучит голос под водой.

— Нет, — сказал он, не повернув головы.

— Мы можем...

— Нет.

— Лоренцо ранен. Он в ризнице. Пацци пойдут к дворцу — перехватят. Если мы...

— Нет. — Он повернулся ко мне, и глаза его были такими, какими я видел их в день падения Храма: не злыми, не испуганными — пустыми, как небо, из которого вычерпали звёзды. — Это их город, Шимон. Их кровь. Их мрамор. Пусть разберутся сами.

— А если не разберутся?

— Разберутся. Лоренцо жив. Лоренцо — Медичи. Медичи всегда разбираются. Они — как мы, только со сроком годности. Козимо нас купил, Лоренцо нас использует, и если мы сейчас вмешаемся — мы станем их инструментом. Мечом Медичи. А мы — не меч. Мы — слово. Слово не льёт кровь.

— Слово отдаёт приказы, — сказал я.

Грегорио посмотрел на меня. Долго. С тем выражением, которое бывает у человека, услышавшего правду, которую он знал и без посторонних.

— Да, — сказал он. — Отдаёт. Но не сегодня. Сегодня — молчим.

Мы молчали. Толпа редела и бежала. Священник у алтаря упал на колени и молился — громко, срывающимся голосом, перекрикивая крики, — и молитва его была такой же бессмысленной, как бессмыслен бинт, наложенный на мёртвого, но он молился, потому что больше ничего не умел, и неумение это было, может быть, единственным честным поступком в соборе, полном людей, каждый из которых умел что-нибудь, но ни один — не сделал.

Лео стоял рядом, и колпак его съехал на затылок, и лицо было серым, и руки — опущены, — человек перед пожаром, у которого ведро пусто, а колодец далеко.

Микеле за моей спиной закрыл Гроссбух. Щёлкнула застёжка. Звук был маленький, деловой, окончательный — как точка, поставленная в конце абзаца, после которого начинается новая страница. Или не начинается.

Розалия — я посмотрел — стояла у колонны, рядом с обморочной торговкой. Руки скрещены. Фартук — чистый. Лицо — каменное. Она смотрела на мрамор пола, на котором кровь растекалась медленно, густо, как растекается бульон, пролитый из миски, — и я подумал, что Розалия сейчас думает именно об этом: о бульоне, о миске, о том, что кровь и бульон текут одинаково, только от бульона пахнет чесноком, а от крови — железом, и обе жидкости остывают одинаково быстро, и обе — не вернуть.

* * *

Лоренцо выжил.

К вечеру Пацци были схвачены. К утру — повешены. Архиепископа Сальвиати повесили на стене Палаццо Веккьо, в облачении, и он висел трое суток, и от него пахло так, как пахнут все мертвецы, вне зависимости от сана, — сладковато, гнило, честно. Франческо де Пацци раздели догола, протащили по улицам и бросили в Арно, и река понесла его к морю, которое не отличает убийц от утопленников.

Лоренцо отомстил. Методично, широко, с тем размахом, который отличает месть Медичи от обычной мести, как собор отличается от часовни: конструкция та же, но масштаб — другой. Были арестованы все Пацци — и причастные, и не причастные. Были конфискованы их

палаццо, их банки, их земли. Было запрещено само имя — «Пацци» вычеркнули из городских книг, как вычёркивают строку из бюджета, и от этого вычёркивания семья, которая существовала двести лет, перестала существовать за неделю, как перестаёт существовать свеча, когда её задувают: не сразу, а с дымком, с тем горьким запахом фитиля, который напоминает, что здесь было пламя.

Лео рисовал повешенных. Я нашёл его у Палаццо Веккьо на третий день — он сидел на камне, с листом бумаги на коленях, и перо его двигалось быстро, точно, без колебаний, и на листе возникал Сальвиати — в облачении, с верёвкой на шее, с лицом, на котором смерть разгладила все морщины и оставила только удивление. Лео рисовал не по заказу. Рисовал, потому что форма — единственное, во что верил, а форма мёртвого на верёвке была так же достойна фиксации, как форма буквы на пергаменте. Он не видел в этом кощунства. Кощунство было в том, что Сальвиати повесили, — а не в том, что Лео его нарисовал.

— Зачем? — спросил я.

— Потому что через сто лет никто не вспомнит, как он висел. А мой рисунок — вспомнят.

В этом Лео оказался неправ — через сто лет Леонардо, тот, другой, нарисует повешенных Пацци лучше, и рисунок Лео останется в папке, в архиве, между счётом за свечи и рецептом бульона, — и никто его не найдёт, и Лео не будет обижен, потому что Лео никогда не обижался на то, что его работу делал кто-то другой. Он обижался только на то, что её делали хуже.

* * *

Заговор Пацци стоил Комитету одного решения — не вмешиваться — и одного вопроса, который я задал Грегорио в тот вечер, во Флоренции, когда мы сидели в таверне на мосту Понте Веккьо и пили кислое тосканское вино, от которого дубело нёбо, и Грегорио пил, что бывало раз в столетие, а значит, дело шло к тому, о чём он не хотел говорить трезвым.

— Ты знал заранее, — сказал я. Не вопрос — утверждение.

— Знал.

— Откуда?

— Сальвиати был дурак. Дураки не умеют хранить секреты, потому что секрет — это груз, а дурак не умеет нести тяжёлое. Он рассказал своему камердинеру. Камердинер рассказал любовнице. Любовница — прачке. Прачка стирала наше бельё.

— Прачка.

— Прачка. Розалия слышала от неё за три дня до мессы. Розалия рассказала мне.

— И ты решил — не вмешиваться.

Грегорио допил вино. Поставил кружку на стол. Кружка была глиняная, с трещиной, и вино просачивалось через трещину и капало на стол, и капля была красная, и на мгновение я увидел в ней мрамор собора.

— Шимон, — сказал он. Голос был тихий, и от вина — чуть мягче, чем обычно, как мягче становится камень, когда его моет вода, не от доброты, а от времени. — Медичи — наш клиент. Пацци — конкурент Медичи. Если мы спасаем Медичи — мы становимся их охраной. Если мы предупреждаем Пацци — мы предаём клиента. Если мы предупреждаем обоих — мы теряем обоих. Единственный выход — стоять и смотреть. Дать событиям произойти. А потом — работать с тем, кто остался.

— Джулиано остался на мраморе.

— Джулиано был младший брат. У младших братьев короткая жизнь, если старший — Лоренцо.

— Ему было двадцать пять.

— Ему было двадцать пять. И девятнадцать ударов. И лилии в крови. И мы стояли в четвёртом ряду и считали удары, потому что Микеле считает всё, а мы — смотрели, потому что

смотреть — это всё, что мы умеем делать, когда решаем не вмешиваться. Мы — наблюдатели. Не ангелы. Ангелы вмешиваются. Мы — записываем.

Он помолчал. За окном таверны Арно нёс мусор, и среди мусора, возможно, ещё плыло то, что осталось от Франческо де Пацци, а возможно — уже нет, потому что река не хранит то, что в неё бросают, в отличие от памяти, которая хранит всё, и от этого хранения болит голова и портится сон.

— Мы работаем со словом, — сказал Грегорио. — Со смыслом. С тем, что остаётся, когда кровь высыхает. Кровь высыхает, Шимон. Всегда. Я видел столько крови, что мог бы наполнить ею Арно, и Арно бы не заметил, потому что река не различает воду и кровь, как не различает мусор и золото, — река течёт, и ей всё равно. Мы — не кровь. Мы — то, что пишут на мраморе после того, как кровь вытерли. Надпись. Эпитафия. Смысл.

— А Джулиано? Какой смысл у Джулиано?

Грегорио не ответил. Он смотрел в пустую кружку, на трещину, через которую вытекло вино, — и от этого взгляда мне показалось, что он видит не трещину, а что-то другое, — что-то, что вытекает из всех наших решений и не возвращается обратно, как вино, как кровь, как время.

Потом он сказал:

— Лоренцо закажет Боттичелли фреску. «Весна». Или что-нибудь с богинями. Красивое. И через пятьдесят лет люди будут смотреть на эту фреску и думать: какая была эпоха. Какие люди. Какая красота. И никто не вспомнит мрамор, и лилии, и двадцатипятилетнего мальчика с девятнадцатью дырами в теле.

Он встал и положил на стол монету — больше, чем стоило вино, потому что Грегорио платил за всё больше, чем стоило, считая, что переплата — это страховка от разговоров, а разговоры — опаснее переплаты.

— Красота — ширма, — сказал он. — За каждой фреской — счёт. За каждым собором — котлован. За каждой богиней на картине — девица, которой художник не заплатил за натуру, потому что у художника нет денег, а у Медичи — есть, но Медичи платят художнику, а не девице. Мы это знаем. Потому что мы — те, кто ставит ширму. Мы — и Медичи. Только Медичи ставят ширму красивее.

Мы вышли из таверны. Флоренция ночью пахла рекой, жареным мясом, мочой и жасмином — всем одновременно, потому что Флоренция не умела пахнуть чем-то одним, как не умел чем-то одним быть её хозяин.

Лоренцо Великолепный правил ещё четырнадцать лет. Заказал Боттичелли и «Весну», и «Рождение Венеры» — то есть дважды одно и то же: красивая женщина на фоне того, что не помнит утопленников. Заказал Комитету «проект Ренессанс» — красоту как замену веры. Не заплатил. Умер в тысяча четыреста девяносто втором, в своей постели, что для Медичи было исключением, а не правилом.

Его сын Пьеро потерял Флоренцию за два года.

Его сын Джованни купил папство за деньги, которых не существовало.

А герб с шестью шарами повис на стене Ватикана, и я стоял перед ним в тысяча пятьсот тринадцатом, и вспоминал кровь на мраморе, и лилии, и мальчика, которому было двадцать пять, и Грегорио, который знал заранее и решил не вмешиваться, потому что «мы — не меч, мы — слово».

Слово. Которое стоит в четвёртом ряду и считает удары.

* * *

Борзая снова лежала поперёк коридора. Я переступил через неё. Она не проснулась. За поворотом пахло жареным мясом из кухни, и свечи оплывали в нишах, и Ватикан жил своей жизнью — медленной, сырой, равнодушной к гербам и к тем, кто под ними ходит.

Грегорио ждал меня в архиве. У него была новость. У него всегда была новость — Грегорио без новости был как Микеле без пера: механизм в исправности, а толку нет.

— Камерарий оправился от подагры, — сказал Грегорио. — Аудиенция завтра. Папа примет.

— Принял бы и сегодня, — сказал я. — Если бы Розалия принесла ему бульон.

Грегорио посмотрел на меня. И — впервые за этот день — усмехнулся. Тонко, одними губами, как усмехается человек, который знает, что собеседник прав, но признавать это вслух не станет, потому что правота собеседника — это расход, а Грегорио не любил расходов.

— Розалия уже отнесла, — сказал он. — Час назад. Аудиенция — послезавтра.

— Ты сказал — завтра.

— Завтра — бульон подействует. Послезавтра — папа проголодается снова. И тогда мы войдём.

Он повернулся к столу, на котором лежали бумаги — сметы, проекты, расчёты Микеле, — и пальцы его, безупречные, начали перебирать листы с той уверенностью, которая не оставляет места для сомнений, — и не оставляла уже очень давно, с тех пор, как мы стояли в четвёртом ряду в Санта-Мария-дель-Фьоре и считали удары ножа в тело мальчика, которому было двадцать пять, и решили, что это — не наше дело.

Всё, что случилось потом, — наше.

Глава четвёртая

Канцелярия Апостольской Печати. Рим, 1514

Ватиканские архивы пахли так, как пахнет бюрократия, когда ей полторы тысячи лет: плесенью, мышиным помётом и тем особенным сухим духом старого пергамента, который не выветривается ничем, потому что он и есть вечность — не возвышенная, не божественная, а канцелярская, пропитанная чернилами и пронумерованная.

Стеллажи тянулись от пола до потолка — дубовые, массивные, с полками, провисшими под весом столетий. Каждая полка — эпоха. Каждый свиток — чья-то жизнь, кому-то отпущенная, у кого-то отнятая, пересчитанная, оценённая и подшитая к делу. Здесь лежали акты отлучения и грамоты помилования, описи конфискованного имущества и росписи расходов на коронации, буллы, бреве, энциклики — бумажная требуха империи, которая давно потеряла легионы, но сохранила канцелярию, потому что канцелярия переживает любую империю, как крыса переживает чуму.

В дальнем конце зала, за столом, заваленным свитками так, что из-под них едва виднелась чернильница, сидел Лео. Он не сидел — он окопался. Вокруг него выросли баррикады из папок, стопок, рулонов. Колпак сдвинут на затылок, рукава засучены, на пальцах — чернила трёх разных оттенков: чёрные дубовые, коричневые монастырские и красные, которыми здесь помечали приговоры. Он выглядел как осаждённый, который построил баррикады из того, что нашлось, и приготовился стоять до конца.

— Симоне, — сказал он, не поднимая головы. Перо скрипело. — Я нашёл тариф на грех уныния. Четырнадцатый век. Полтора флорина. Знаешь, сколько стоит сейчас? Четыре. Подорожало втрое за двести лет. При этом уныние как грех не изменилось. Человек унывает ровно так же, как унывал в тысяча триста двадцатом. Но платит втрое больше.

— Это и есть прогресс, — сказал я.

— Это воровство, — Лео снял колпак, потёр переносицу, надел обратно. — Они берут деньги за товар, который не подорожал, не улучшился и не изменился. Единственное, что изменилось, — жадность продавца.

— Мы тоже продавцы, Лео.

— Мы — архитекторы. Это разные вещи. Архитектор строит дом. Продавец торгует ключами от дома, которого нет. — Он помолчал, глядя на свиток. — Впрочем, дома тоже нет. Но хотя бы чертёж был красивый.

За дверью архива раздались шаги — грузные, уверенные, с характерным шарканьем бархатных туфель по каменному полу. Запахло мускатом и розовой водой. Так ходил и так пах только один человек в Ватикане.

Грегорио вошёл первым — как всегда, на полшага впереди всех остальных, включая тех, кто формально был выше. На нём был чёрный камзол с серебряной нитью, белоснежное жабо и сапоги, на которых не было ни единого пятна, хотя коридоры дворца в дождь представляли собой грязевые траншеи, по которым кардиналы передвигались, подобрав полы мантий, как прачки — подолы.

За ним, заполнив дверной проём целиком, появился папа.

* * *

Лев X был огромен. Не толст — огромен, как бывают огромны люди, которые никогда не знали голода и считают тесноту личным оскорблением. Круглое лицо с мелкими, подвижными глазками, которые скользили по предметам и людям с одинаковым аппетитом. Шёлковая мантия — белая с золотом — сидела на нём как шатёр на столбе. Пальцы — короткие, пухлые, унизанные перстнями — постоянно двигались, перебирая чётки, складки ткани, воздух. Он

не мог не трогать мир. Мир был для него вещью, которую можно взять, повертеть и положить обратно — или не положить, если понравится.

За ним, на шаг позади, семенил секретарь — маленький, сухой, с лицом, на котором морщины лежали слоями, как страницы в подшивке. Секретарь пах чернилами и страхом, что для ватиканского служащего являлось чем-то вроде формы одежды.

— Мой дорогой Грегорио, — пропел папа, и голос его, высокий тенор, отразился от сводов архива так, что свитки на полках задрожали, как от сквозняка. — Вы обещали мне решение. Я устал от обещаний. Обещаний у меня больше, чем кардиналов, а кардиналов у меня — двадцать восемь.

— Ваше Святейшество, — Грегорио склонил голову ровно настолько, чтобы жест не выглядел ни подобоострастным, ни дерзким. Этот наклон он оттачивал столетиями. — Позвольте представить вам человека, который решит вашу финансовую проблему.

Он обернулся к двери. Я ждал, что войдёт Микеле.

Вошла Розалия.

* * *

Она была одета в чёрное — вдовье платье, глухое, застёгнутое до подбородка, с белым чепцом. Руки спрятаны в рукава. На лице — выражение, которое я видел тысячи раз: спокойная, непроницаемая доброжелательность, за которой пряталось что-то, от чего мужчины крупнее папы отступали на шаг.

В руках она несла глиняную миску, накрытую льняной салфеткой. От миски пахло бульоном — густым, наваристым, с чесноком и тимьяном. Этот запах в ватиканском архиве, среди пергамента и плесени, звучал как крик на похоронах — неуместно и абсолютно правильно.

— Ваше Святейшество, — сказала Розалия и присела в книксене, который она выучила при бургундском дворе и с тех пор не обновляла. — Вы не завтракали.

Это не было вопросом. Розалия не спрашивала — Розалия констатировала. Она знала, что папа не завтракал, как знала, что каменщики на стройке не пообедали, что Лео не ужинал, что Микеле забывает есть, когда считает, и что Грегорио питается воздухом и собственным величием. Она знала это, потому что за шестьсот лет научилась определять голодного по тому, как он стоит, — голодный человек стоит чуть наклонившись вперёд, к миру, от которого ждёт еды, даже если сам этого не замечает.

Папа посмотрел на миску. Потом на Розалию. Потом на Грегорио.

— Кто эта женщина?

— Розалия, — сказал Грегорио. — Она знает, как говорить с людьми, чтобы они слушали.

— По каким вопросам?

— По всем. Но особенно — по тем, после которых человек делает то, что мы хотим, и думает, что это его собственное решение.

Папа сел — не на стул, стулья в архиве были рассчитаны на секретарей, а не на понтификов, — на край стола, который скрипнул, но выдержал. Розалия поставила перед ним миску, сняла салфетку. Пар поднялся и растаял в сыром воздухе архива, и на мгновение запах бульона перебил запах вечности, и от этого стало теплее, и проще, и понятнее.

Папа зачерпнул ложкой. Попробовал. Замер. Зачерпнул ещё раз.

— Это... — он поискал слово. — Это что?

— Бульон, Ваше Святейшество. Куриный. С чесноком. Рецепт моей бабки. И её бабки. И той, что была до неё. Женщины в нашей семье не оставляют наследства — оставляют рецепты.

— Давно варите?

— Всю жизнь, Ваше Святейшество. Рецепт не меняется. Курица, вода, соль, чеснок, терпение. В хорошие времена добавляю тимьян. В плохие — обхожусь без тимьяна. Сейчас — с тимьяном. Времена пока не самые плохие. Пока.

Папа ел. Розалия стояла, сложив руки перед собой, и ждала. Она всегда ждала, пока человек поест, и только потом говорила, потому что с голодным разговаривать бессмысленно — голодный слышит не слова, а урчание собственного живота, и живот говорит громче любого собеседника.

Когда миска опустела, папа откинулся назад, и в его маленьких глазках появилось выражение, которое Микеле называл «готовность к капитуляции»: сытый человек соглашается на вещи, на которые голодный не согласился бы никогда.

— Итак, — сказал папа. — Решение.

Грегорио переглянулся с Розалией. Розалия едва заметно кивнула — один кивок, которым она отправляла в бой армии, утешала умирающих и разрешала Микеле взять добавку. Кивок означал: он готов. Говори.

— Ваше Святейшество, — начал Грегорио. — Ваша казна пуста, а вкусы — дороги. Мощей на рынке столько, что из щепок Креста можно обшить галеру. Десятина падает. Но у вас есть один актив, который не имеет себестоимости, не портится и обладает неограниченным спросом. Грех. Каждый день каждый живой человек грешит — делом, словом, помышлением. И каждый из них хочет одного: чтобы кто-нибудь сказал, что это не страшно. Что можно заплатить — и забыть.

Он выдержал паузу. Акустика архива была не такой, как в крипте под Льежем, — здесь голос не звучал, как голос пророка, он звучал, как голос банкира, и это было именно то, что нужно.

— Вы уже продаёте прощение, Ваше Святейшество. Но продаёте штучно. Через канцелярию, через исповедальни. Ручная работа. Я предлагаю — иначе. Розалия объяснит как.

Папа смотрел на него, не мигая. Маленькие глазки стали ещё меньше — так они сужались, когда Лев Х считал. Он был Медичи. Медичи считали прежде, чем молились, и молились прежде, чем платили, и не платили, если можно было не платить.

— А кто будет продавать?

Грегорио обернулся к Розалии.

— Она, — сказал он. — Вернее — тот, кого она обучит. Она знает, как говорить с людьми. Как повернуть страх в нужную сторону. Как сделать так, чтобы монета упала в кружку раньше, чем человек успеет подумать.

— Я не продаю, — сказала Розалия. Голос был ровный, без выражения. — Я кормлю. Но иногда кормить и продавать — одно и то же. Голодному дают хлеб. Испуганному — утешение. Разница в том, что хлеб заканчивается, а утешение — нет. Если правильно подать.

Папа улыбнулся — широко, щедро, как улыбаются люди, которые нашли то, что искали. И повторил фразу, которую произносил каждый день с момента восшествия, — ту самую, от которой у Микеле дёргался левый глаз.

Лео за своим столом уронил перо. Оно покатилося по свитку, оставляя за собой кривую чернильную полосу.

Тень каллиграфа

Записано на обороте испорченного требника. Монастырь Сан-Паоло-фуори-ле-Мура, Рим. Почерк — каллиграфический, идеальный. Буквы выведены с такой тщательностью, что каждая выглядит как надгробная надпись. На полях — пятна воска.

Меня зовут Юстус. Я монах ордена бенедиктинцев. Мне шестьдесят три года, из них сорок я провёл в скриптории.

Сорок лет я выводил буквы. Каждое утро, после заутрени и перед первой трапезой — которую я пропускал, потому что пальцы не должны пахнуть едой, когда берёшь перо, — я садился за пюпитр, клал перед собой лист, обмакивал перо в чернила и начинал. Буква за буквой. Строка за строкой. Страница за страницей. Тысячи страниц за сорок лет.

Я переписал Евангелие от Матфея четырнадцать раз. От Луки — одиннадцать. Послания Павла — девять. Псалтырь — шестнадцать. Каждая копия отличалась от предыдущей только одним — мастерством. Первый мой Матфей был старательный, но ученический: буквы стояли, как послушники на молитве, — ровно, но без достоинства. Четырнадцатый был совершенен. Каждая буква знала своё место, каждый штрих нёс вес именно той мысли, которую передавал, и между строк оставалось ровно столько воздуха, сколько нужно, чтобы глаз отдыхал, но не терял нить.

Отец настоятель говорил: ты, Юстус, пишешь так, будто Бог водит твоей рукой. Я не поправлял его, но знал, что Бог здесь ни при чём. Бог дал мне руку. Остальное — сорок лет по восемь часов в день. Бог может водить рукой, но без мозолей каллиграфии не бывает.

Вчера меня вызвали в подвал.

Не в тот подвал, где хранится вино и куда брат Маттео ходит ночью, думая, что никто не замечает. В другой — дальний, за капеллой, куда раньше сносили сломанную мебель и где крысы вывели за последние двадцать лет целую республику.

В подвале стояла машина.

Я не знал, как она называется. Узнал позже — печатный станок. Тяжёлая деревянная рама, железный винт, плоская каменная плита. Рядом — ящики с маленькими свинцовыми брусками, каждый размером с ноготь. На каждом — буква. Зеркальная, перевёрнутая, как отражение в воде.

Человек, который привёз машину, был высокий, сутулый, в нелепом голландском колпаке. Руки у него были тонкие, с длинными пальцами, перепачканными чернилами трёх цветов. Он смотрел на станок так, как я смотрю на завершённую страницу Псалтыря — с нежностью, которую испытываешь только к тому, что создал сам, или к тому, что понимаешь.

— Покажи ему, — сказал другой человек, стоявший у двери. Этого я раньше видел в архивах — высокий, в чёрном, с руками, заложенными за спину. От него пахло мускатом и властью.

Человек в колпаке кивнул. Взял из ящика горсть свинцовых брусков. Расставил их в металлической рамке — быстро, без запинки, как расставляют шахматные фигуры. Зажал. Смазал чем-то чёрным, пахнущим жжёной костью. Положил лист бумаги. Повернул винт. Поднял лист.

На бумаге было написано: «*Indulgentia plenaria ad peccata praeterita et futura.*» Полная индульгенция за грехи прошлые и будущие.

Десять слов. Одна строка. Четыре секунды.

Он положил следующий лист. Повернул винт. Поднял. Те же десять слов.

Следующий. Те же. Следующий. Те же.

За минуту — пятнадцать листов. За час — девятьсот. За день — если не считать перерывов на еду, которые этот человек в колпаке, судя по его худобе, считал необязательными, — семь тысяч.

Семь тысяч индульгенций в день.

Я переписывал одну индульгенцию за четыре часа. С орнаментом — за шесть. С золочением инициала — за полный день. Семь тысяч — это десять лет моей работы. За один день. За один оборот железного винта, повторённый семь тысяч раз.

Я стоял и смотрел, как машина выплёвывает благодать со скоростью, которую Бог не предусматривал. Станок лязгал — мерно, ритмично, безразлично. Ему было всё равно, что печатать: индульгенцию, торговый каталог, приговор. Буквы были одинаковые. Свинец не различает священное и мирское.

Человек в колпаке заметил, что я смотрю. Обернулся. Лицо у него было усталое, с красными глазами, и в этих глазах я увидел что-то, чего не ожидал, — стыд. Не за станок. За меня. Он смотрел на мои руки — мозолистые, с вечным пятном чернил на среднем пальце правой

руки, с суставами, скрученными подагрой, — и стыдился. Как стыдятся перед стариком, которого увольняют.

— Мне нужен человек, который будет чистить литеры, — сказал он. Голос был глухой, с акцентом, которого я не определил. — Свинец забивается краской после каждого тиража. Нужны тонкие пальцы и терпение. Вам, брат, подойдёт.

Чистить литеры. Сорок лет я переписывал Слово Божье, и каждая буква, выведенная моей рукой, несла в себе вес молитвы, и пот, и бессонные ночи, и боль в спине, и слёзы, которые я проливал, когда портил страницу и приходилось начинать заново. А теперь мне предлагают чистить маленькие свинцовые бруски, чтобы машина могла печатать быстрее то, что я писал красивее.

Я не ответил. Снял фартук. Вышел из подвала. Поднялся в скрипторий. Сел за пюпитр. Обмакнул перо.

Начал писать.

Не индульгенцию. Не Псалтырь. Не Евангелие. Это.

Пишу для себя. Потому что буквы, выведенные рукой, ещё принадлежат мне. Буквы, отлитые в свинце, не принадлежат никому. Они одинаковые, мёртвые, безымянные. В них нет мозолей. Нет бессонных ночей. Нет запаха чернил на среднем пальце. Они — просто свинец, как пули — просто свинец, и те и другие попадают в цель, и тем и другим всё равно.

Человек в колпаке хороший человек. Я видел это по его глазам. Он стыдился за меня. Но стыд не помешал ему повернуть винт. Так бывает: стыдишься — и делаешь. Делаешь — и стыдишься. И ни одно не отменяет другого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.